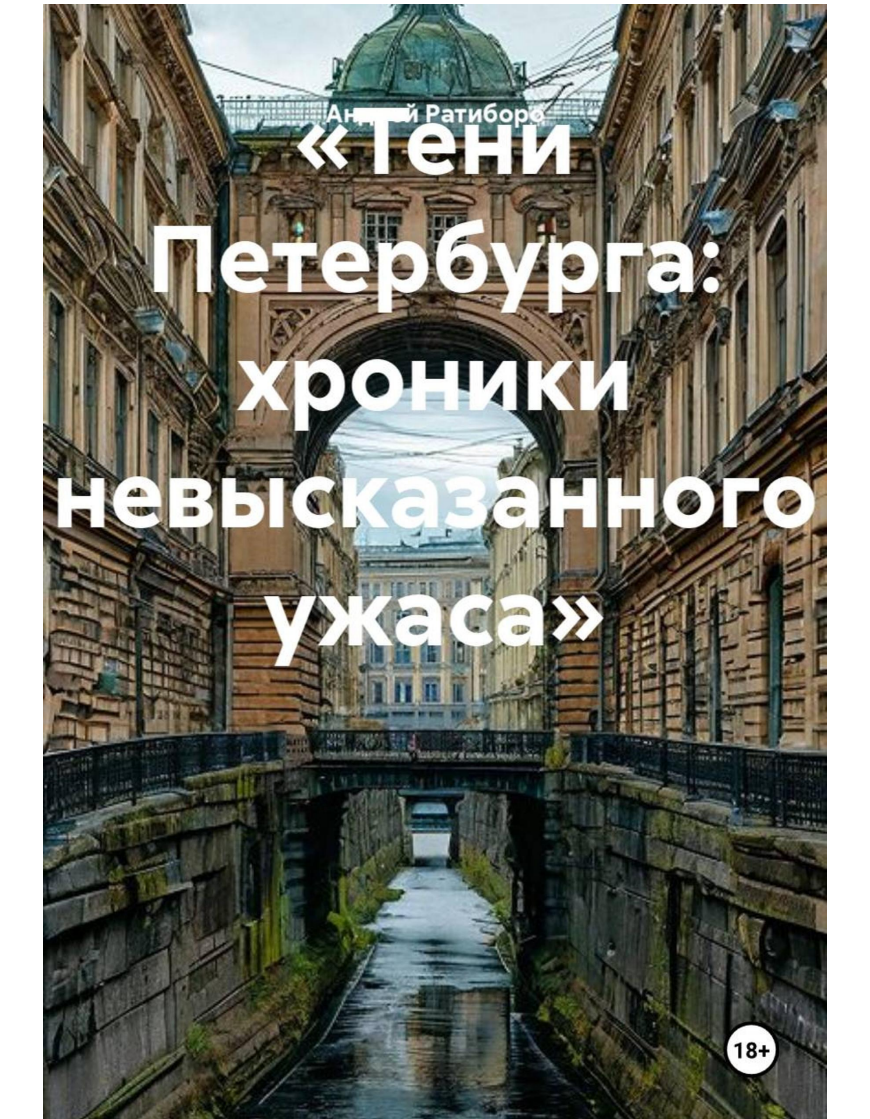


A photograph of a narrow canal in St. Petersburg, Russia. The canal is flanked by high, moss-covered stone walls. A small bridge crosses the canal in the foreground. In the background, a large, ornate archway frames a view of another building with a green dome. The sky is overcast.

Андрей Ратибор

# «Тени Петербурга: хроники невысказанного ужаса»

18+

# Андрей Ратиборо

## «Тени Петербурга: хроники невысказанного ужаса»

*<https://litres.ru/74366504>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Петербург умеет хранить тайны — и не все они безобидны. В этих рассказах город становится живым участником кошмара: его мосты, двoryколодцы и пустые коридоры стадионов прячут древнее зло, перед которым бессильны логика и чертежи. Инженер, столкнувшийся с вампирской сущностью, и пара, затерявшаяся в ожившем лабиринте арены, узнают на себе: бежать можно, но скрыться — никогда. «Тени Петербурга: хроники невысказанного ужаса» — это погружение в мир, где страх пробирается под кожу, а привычный пейзаж оборачивается ловушкой.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Тихий паразит                     | 4  |
| Шёпот из подвала                  | 12 |
| Лесные предания: Хроника тишины   | 24 |
| Копытный рёв                      | 29 |
| Хруст берёзового сока             | 35 |
| Зубы на чердаке                   | 43 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 45 |

# Андрей Ратиборо

## «Тени Петербурга: хроники невысказанного ужаса»

### Тихий паразит

Дождь не просто стучал — он барабанил по подоконнику, выбивая монотонный, почти гипнотический ритм, который проникал под кожу, словно навязчивая, болезненная пульсация. Звук напоминал неровное сердцебиение старого холодильника, который вот-вот сдастся под натиском времени и усталости; казалось, сам дом постанывает, жалуясь на сырость и безысходность. Тимофей сидел в углу своей комнаты, крепко обхватив колени руками, будто пытался удержать внутри себя остатки тепла и спокойствия, но холод пробирался всё глубже, добираясь до самых костей. Ему было двенадцать — возраст, когда мир стремительно теряет ореол волшебства и превращается в запутанный, враждебный лабиринт. На каждом его повороте теперь таились не чудеса, а чья-то злоба или равнодушное безразличие, от которого становилось особенно холодно — холодно до дрожи, до того самого ощущения, будто кровь в жилах начинает густеть и замедляться.

Сопли стекали по лицу бесконечной холодной рекой, и каждый раз, вытирая нос тыльной стороной ладони, мальчик оставлял на коже липкие, неприятные следы, которые казались ему почти чужими, будто это была не его рука, не его кожа, а что-то временное, ненастоящее. Глаза слезились так сильно, будто в них действительно капнули едким щелочным раствором, разъедающим не только роговицу, но и само восприятие мира. Всё вокруг расплывалось, превращаясь в мутное, бесформенное пятно — словно акварельный рисунок, который безжалостно залили водой, и краски, смешавшись, образовали уродливую, пугающую абстракцию. В голове гудело: не оглушающе, а навязчиво, тихо и неотступно, точно надоедливая муха, что кружит под лампочкой, не в силах найти выход из замкнутого пространства, и этот звук сливался с шумом дождя, образуя единый, давящий гул, от которого хотелось закрыть уши и кричать, но крик застревал где-то в горле, превращаясь в тихий, бессильный хрип.

— Опять? — спросил отец, ненадолго заглянув в приоткрытую дверь. Его голос звучал плоско, без малейших оттенков эмоций — как забытое радио, которое продолжает бормотать что-то в пустой комнате, повторяя одни и те же бессмысленные фразы. В этом голосе не было ни злости, ни сочувствия — только пустота, от которой становилось ещё страшнее, потому что пустота не кричит, не ругается, она просто есть, и с ней невозможно спорить.

Тимофей не ответил. Он не мог оторвать взгляда от своих

пальцев: они казались странно чужими, бледными, с едва заметной синевой на кончиках, будто жизнь медленно утекала из них, растворяясь в воздухе. В животе медленно скручивался тугой узел. Это не была привычная боль — скорее тяжёлое, давящее чувство, будто внутри него поселился какой-то посторонний механизм, которому здесь совершенно не место, и он постепенно набирал обороты, готовясь к чему-то неизбежному. Страх подкрадывался незаметно, как тень, которая сначала кажется безобидной, а потом вдруг разрастается, поглощая всё вокруг. И самое страшное было не в самой боли, а в неопределённости: Тимофей не знал, что это за механизм, зачем он здесь и что будет, когда он заработает на полную мощность.

Вечером семья собралась за ужином — молчаливым, тяжёлым, словно каждый боялся нарушить хрупкую тишину, будто любое слово могло стать спусковым крючком для чего-то ужасного. Мать молча положила на тарелку Тимофея кусок хлеба. Хлеб был старым, жёстким, с сероватой коркой, которая выглядела так, будто давно утратила право называться едой, и казалась почти ядовитой, опасной. Тимофей поднял на неё взгляд, но она не встретила его глаз. Она смотрела в свою тарелку, где остывала тушёная капуста, и выражение её лица было таким, какое бывает у человека, который уже принял самое трудное решение и теперь просто ждёт, когда всё свершится, не надеясь на чудо, не веря в спасение. В её взгляде читалась не усталость, а какая-то обре-

чёрная покорность, от которой по спине бежали мурашки.

— Съешь, — сказала она тихо, почти без интонации. — Так будет лучше.

Эти слова прозвучали не как просьба и даже не как приказ, а как констатация факта, как приговор, который нельзя обжаловать. Тимофей взял хлеб. Есть не хотелось совершенно, но он слишком хорошо знал: если он оставит еду нетронутой, начнётся сцена. А сил на борьбу не осталось. Он был измотан не столько физически, сколько этой бесконечной, выматывающей необходимостью оправдываться и защищаться, доказывать, что он не виноват, хотя никто и не обвинял его вслух. Откусив кусок, он почувствовал, как сухая, безвкусная корка хрустит на зубах, подчёркивая пустоту не только во рту, но и где-то глубже — внутри, там, где раньше жили надежда и вера в то, что всё наладится.

Ночью его разбудил пронизывающий холод, который, казалось, пробирался под кожу, добираясь до самых костей, и дальше — до самой души, выстуживая её до состояния ледяной пустоты. Он лежал в своей кровати, окружённый темнотой — такой густой и плотной, что её можно было ощутить, как тяжёлую ткань, в которую хочется уткнуться лицом, чтобы спрятаться от всего мира, но даже это не помогало, потому что темнота была не снаружи, а внутри, она росла, ширилась, заполняя каждую клеточку. Где-то внизу, в самом низу живота, появилось странное ощущение: тепло, влажность и неприятный зуд, от которого хотелось сжаться и исчезнуть,

раствориться в этой темноте, стать её частью, лишь бы не чувствовать этого чужого, пугающего присутствия.

Тимофей сжался, стараясь не шевелиться, будто если он будет лежать неподвижно, то всё это окажется просто кошмаром, который рассеется с первыми лучами солнца. Но тело, живущее по своим, непонятным законам, само заставило его подняться. Оно действовало отдельно от разума, как будто разум уже сдался, а тело ещё цеплялось за жизнь, пытаясь разобраться в происходящем. Он сел на край кровати, и ноги тут же коснулись ледяного линолеума, который отозвался на прикосновение резким, почти обжигающим холодом, пронзившим до самого сердца. В полной тишине дома отчётливо слышался мерный, неумолимый стук часов в коридоре: «тик... так... тик... так...» — словно отсчитывающий последние мгновения перед чем-то неизбежным, и каждый удар отдавался в груди, напоминая, что время не остановится, даже если очень попросить.

Он опустил взгляд вниз.

На простыне, выделяясь на фоне белой ткани, лежало что-то тонкое и бледное. Оно лежало там, изогнувшись, словно змея, свернувшаяся в тугой клубок в ожидании момента, чтобы броситься вперёд, вонзить зубы и никогда не отпускать. Тимофей не сразу понял, что это. Его мозг, затуманенный усталостью и болезнью, отказывался принимать и обрабатывать эту странную, пугающую реальность, цепляясь за любые другие объяснения: это тень, это пятно от воды,

это игра света. Но тело знало. Тело всегда чувствует то, что разум старается не замечать, и сейчас оно кричало, вопило, требовало бежать, прятаться, делать хоть что-нибудь, только не сидеть здесь, не смотреть на это.

Наклонившись чуть ближе, он всмотрелся, и в этот момент страх накрыл его с головой, тяжёлый, удушающий, такой, что перед глазами поплыли тёмные пятна, а руки задрожали мелкой, неукротимой дрожью.

Это была не глина, не случайный комок ткани и не игра теней. Это была жизнь — маленькая, бледная, живая нить, которая едва заметно шевельнулась под лёгким движением воздуха, будто пробуждаясь от долгого сна. Тимофей замер, а потом снова наклонился, почти касаясь её пальцем, и в этот миг ему показалось, что он слышит тихий, едва уловимый шёпот, исходящий не извне, а откуда-то изнутри, из самой глубины его существа. Нить дрогнула, отозвавшись на прикосновение, и это движение было таким отчётливым, таким осознанным, что по спине пробежал ледяной холод. Она оказалась длиннее, чем он сперва подумал, — тонкая, почти прозрачная, она тянулась куда-то в темноту, в ту самую бездну, из которой, казалось, появилась, и эта бесконечная протяжённость пугала больше всего, потому что она намекала на нечто огромное, скрытое во мраке, чего Тимофей не мог увидеть, но уже чувствовал всем своим существом.

— Нет, — прошептал он, и собственный голос прозвучал в тишине как чужой, слабый и беспомощный, словно при-

надлежал не ему, а кому-то другому, кто давно сдался и теперь только наблюдал за происходящим со стороны.

Нить снова дёрнулась, будто услышала его и решила напомнить о себе, показать, что она здесь, она настоящая, и её нельзя игнорировать. Она тянулась в темноту, теряясь в ней, и в этот момент Тимофей вдруг понял: это не конец. Это только начало. Что-то большое, древнее и невероятно голодное наконец-то пробудилось внутри него, расправляя невидимые крылья и готовясь заявить о своём присутствии, и самое страшное заключалось в том, что он не знал, как с этим бороться, не знал даже, можно ли с этим бороться.

Он поднялся и медленно прошёл по коридору к зеркалу в его конце, и каждый шаг отдавался гулким эхом, будто дом подбадривал его или, наоборот, насмехался над его тщетными попытками сохранить остатки контроля. В отражении его глаза казались неестественно красными, словно у загнанного зверя, который уже не верит в спасение, но всё ещё готов бороться, хотя и не знает, против чего. А на губах застыла странная улыбка — не его, не знакомая, будто кто-то другой на мгновение занял его лицо, примеряя его, как чужую маску, чтобы посмотреть, насколько она подходит.

— Ты голоден, — прозвучал голос из темноты. Тихий, ровный, пугающе спокойный. Это был его собственный голос, но в нём слышалась тяжесть столетий, будто говорил не мальчик, а кто-то, кто прожил сотню жизней и устал от каждой из них, и теперь хотел только одного — чтобы всё нако-

нец закончилось. Или, наоборот, только начиналось.

Тимофей закрыл глаза. Сопли снова потекли по щекам — теперь они были горячими и солёными, смешиваясь с чем-то похожим на слёзы, хотя он не был уверен, что плачет. Он почувствовал, как внутри него медленно, но уверенно начинает расти нечто новое. Не кости, не мышцы, не привычное тело — а что-то гораздо более прочное. Уверенность. Тяжёлая, холодная, но твёрдая, как сталь. И в этой уверенности не было ничего хорошего — она не давала сил, она забирала их, заменяя надежду на принятие неизбежного.

И тогда он снова улыбнулся. На этот раз улыбка была настоящей — такой, какой она должна быть, когда человек наконец принимает то, с чем больше невозможно бороться, и понимает, что борьба уже проиграна, а он даже не заметил момента поражения.

# Шёпот из подвала

Восемь лет — возраст, когда воображение работает не как скромный фонарик, освещающий путь, а как слепящий прожектор в пустом театре: он выхватывает из темноты чудовищ, которых не видит никто, кроме тебя. И в этом одиночестве рождается самый глубокий, самый пронзительный страх — ведь если монстр существует только в твоей голове, никто не сможет его прогнать, никто не скажет: «Смотри, тут ничего нет». Серёжа знал это лучше прочих. Он был настоящим мастером слов — архитектором собственных кошмаров. Из кирпичиков чужих страхов и буйных фантазий он возводил целые крепости ужаса, и порой ему становилось не по себе от того, насколько правдоподобными они получались. Иногда ему казалось, что он не придумывает эти истории, а вспоминает их — будто где-то в глубине памяти хранились обрывки чужих снов, пропитанных отчаянием и холодом.

Тот проклятый вторник запомнился особенно. Воздух в квартире стоял неподвижный, густой, пахнувший старой пылью и забытыми вещами — будто дом давно перестал дышать и теперь лишь тихо старел, накапливая в своих стенах невысказанные страхи и горькие слёзы. Серёже было невыносимо скучно. А скука, как известно, — мать всех бед: она шепчет на ухо, толкает в спину, требует действия, и в её шё-

поте всегда прячется что-то хищное, что ждёт лишь мгновения слабости, чтобы проникнуть глубже. И он начал.

— А что, если в подвале нашего дома живут мертвецы? — произнёс он, глядя на сестру, которая, не поднимая глаз, листала журнал с яркими картинками, словно цепляясь за этот обычный, безопасный мир.

Сестра промолчала, будто даже не услышала его слов, будто они растворились в тяжёлом воздухе, не достигнув её сознания.

— Нет, — продолжил Серёжа, и голос его обрёл ту самую бархатную, тягучую интонацию, которую он приберегал для самых жутких историй. — Не просто мертвецы. Скелеты. Они выходят, когда луна полная. Бродят по трубам, скользят между стен, пробираются сквозь щели, о которых никто не знает. Они слышат, как мы дышим. Слышат каждый удар сердца. Они знают, когда мы боимся.

Слова повисли в воздухе — лёгкие, словно пух, и одновременно тяжёлые, как свинцовые гири, которые тянут вниз, к самой земле, к той тьме, что прячется под фундаментом. Серёжа не замечал, как побелели его пальцы, стиснутые в кулаки, не видел, как в глазах, обычно искрившихся озорством, начала скапливаться густая, непроглядная тьма. Ему казалось, что с каждым произнесённым словом он приоткрывает невидимую дверь, и сквозь щель в комнату просачивается что-то холодное, липкое, живое.

В ту ночь сон не шёл. Серёжа лежал, уставившись в пото-

лок, и ему казалось, что где-то глубоко под ним, за слоями бетона, кирпича и земли, кто-то стучит. Тук-тук-тук. Медленно, ритмично, будто это билось сердце мертвеца. Звук проникал сквозь перекрытия, находил дорогу к его ушам и не давал забыть: там, внизу, кто-то есть. И этот кто-то ждал. Ждал, когда Серёжа снова заговорит о нём, снова призовет его своим воображением, снова сделает его реальным. Страх сжимал грудь, мешая дышать, и мальчику казалось, что если он пошевелится, звук станет громче, настойчивее, превратится в шаги, поднимающиеся по лестнице к его комнате.

Утром мир выглядел иначе. Пятиэтажка, в которой они жили, всегда была просто домом — серым, унылым, с облупившейся краской. Но теперь Серёжа видел в ней нечто зловещее: не здание, а пасть, готовую захлопнуться. Каждый подоконник первого этажа казался глазом, следящим за ним с холодным, безразличным вниманием. Каждая труба, уходящая вниз, походила на вену, по которой течёт чёрная, вязкая кровь, питающая что-то огромное и древнее, спящее в недрах земли. Дом больше не был просто домом — он был живым, и он знал Серёжу. Знал его привычки, его страхи, его самые тёмные мысли.

Проходя мимо мусорных баков, он уловил запах сырости, смешанный с чем-то затхлым, почти гнилостным, будто из-под земли поднимался дух разложения, который хотел коснуться его кожи, проникнуть внутрь, стать частью его. И вдруг из-за угла дома мелькнула тень — длинная, неесте-

ственно тощая, будто сотканная из сумрака. У неё не было источника света, она не отбрасывала отражения, а просто существовала, нарушая привычные законы мира. Серёжа замер. Сердце колотилось так сильно, что удары отдавались в горле, мешая дышать, заглушая все остальные звуки, кроме этого бешеного ритма, который кричал: «Беги!»

«Они здесь, — пронеслось в голове. — Они вышли. Они ждали меня».

Он попытался шагнуть назад, но ноги не слушались, будто их пригвоздили к асфальту невидимыми гвоздями, вбитыми прямо в кости. Взгляд сам собой скользнул к подвальному люку. Ржавые металлические решётки, грязные и покоробленные, смотрели на него, словно пустые глазницы, в которых пряталась сама смерть. И в этот миг воображение дорисовало то, чего не было: решётки начали медленно шевелиться, приоткрываться, выпуская тьму наружу. Из глубины подвала, из того самого места, о котором он сам сочинял страшные истории, потянулась рука — костяная, белая, с длинными, тонкими пальцами, похожими на сухие веточки, готовые вцепиться в его плоть.

Серёжа закричал. Крик вышел негромким, сдавленным, почти беззвучным — так пищит зверёк, угодивший в капкан, понимая, что спасения нет. Он развернулся и бросился бежать, не оглядываясь, чувствуя, как холодные пальцы едва ощутимо касаются затылка, скользят по волосам, шепчут что-то на незнакомом языке. Он мчался, пока не рухнул

на колени на знакомой лужайке, задыхаясь и плача, не понимая, что страшнее — то, что он видел, или то, что продолжало жить в его голове, разрастаться там, как ядовитый гриб, отравляющий каждую мысль.

С балкона выглянула мать, заметив сына, вцепившегося пальцами в землю, будто он пытался удержать самую реальность, не дать ей рассыпаться на части.

— Серёжа! Что случилось? — крикнула она, и её голос, обычно такой тёплый и надёжный, прозвучал странно глухо, словно доносился сквозь толщу воды.

Он поднял на неё глаза. В них не было слёз — только пустота. Глубокая, чёрная, будто кто-то вынул из него всё живое и оставил лишь оболочку, пустую и холодную.

— Мама, — прошептал он чужим, хриплым голосом, который не принадлежал ему, будто слова произносил кто-то другой, прятavшийся внутри. — Они знают, что я их выдал. Они слышали каждое слово.

С того дня Серёжа не подходил к дому ближе чем на сто метров. Он боялся смотреть вниз, боялся слышать шаги над головой, боялся тишины, которая вдруг становилась слишком громкой, наполняясь шёпотом, который никто, кроме него, не мог разобрать. Но страшнее всего было другое: он боялся однажды проснуться и понять, что скелеты больше не прячутся в подвале. Что они уже на кухне. Уже в коридоре. Уже рядом. Уже внутри.

Это было не просто наваждение. Это чувство висело в воз-

духе, плотное и осязаемое, как запах озона перед грозой, когда небо становится тяжёлым и враждебным. Где-то в глубине сознания мелькнула фраза Кинга: монстры не приходят извне — они выныривают из трещин в реальности, из щелей, где стыкуются прошлое и настоящее, страх и обыденность. И в этом доме, на углу Мейн-стрит и безымянного переулка, трещина была пугающе широкой — почти в человеческий рост, и она медленно, но верно расширялась, поглощая всё вокруг. Дом жил своей жизнью, и эта жизнь была чуждой, враждебной, холодной, как лёд, который сковывает реки зимой, не оставляя шанса на спасение.

Стоя у обочины, Серёжа вцепился пальцами в лямку рюкзака, чувствуя, как ткань врежется в кожу, напоминая, что он ещё здесь, ещё жив, ещё не стал частью этой тьмы. Кожу на ладонях неприятно зудело, будто по ней ползли невидимые мурашки, оставляя после себя ледяные дорожки. Ветер, холодный и влажный, нёс запах прелой листвы и сладковатой, гнилостной сладости, от которой хотелось зажмуриться и не дышать, чтобы не впустить этот запах внутрь, не сделать его частью себя. Он мотнул головой, пытаясь стряхнуть с себя липкое ощущение чужого присутствия, но оно не уходило — оно прилипло, как паутина, тонкая и прочная, готовая опутать его целиком. «Не смотри, — шептал внутренний голос, тот самый, что звучит, когда знаешь: лучше не знать. — Не смотри вниз. Не ищи их. Они сами найдут тебя».

Но он посмотрел.

Окно первого этажа было тёмным, как мёртвый зрачок, в котором отражалась вся пустота мира. А в глубине, за пыльными занавесками, мелькнуло что-то белое, костяное. Оно не двигалось — скорее перемещалось, словно стопка карт, которую невидимая рука бесшумно перекладывает с места на место, готовя расклад, в котором нет выигрышных комбинаций. Серёже показалось, что он слышит тихий, едва уловимый скрежет — будто кости тёрлись друг о друга, привыкая к движению после долгого покоя.

Серёжа сделал шаг назад, и пальцы его впились в асфальт, словно он пытался удержаться за реальность, не дать ей ускользнуть сквозь пальцы. Камень был холодным и шершавым, и это ощущение ненадолго вернуло его в мир, где существуют обычные вещи: асфальт, ветер, солнце, которое когда-то светило. Но это облегчение было мимолётным.

— Ты не должен был туда заходить, — прозвучал голос за спиной. Тихий, хриплый, будто его выдавили из ржавого механизма, который давно не смазывали, и теперь каждое слово отдавалось болью.

Он вздрогнул и резко обернулся. На тротуаре, в густой тени фонаря, стояла старуха. Её чёрное платье казалось сшитым из самих теней, которые тянулись к нему, пытаясь коснуться, проникнуть под кожу. Лицо скрывал глубокий капюшон, но Серёжа чувствовал на себе взгляд — не глазами, а чем-то гораздо более древним и холодным, чем-то, что видело слишком много и теперь знало все его секреты.

— Кто вы? — спросил он, и голос предательски дрогнул, выдавая страх, который он пытался спрятать.

Старуха не ответила сразу. Она медленно, со скрипом, повернула голову — будто суставы её давно заржавели, и каждое движение причиняло боль, но она терпела, потому что это было необходимо. И тогда Серёжа увидел: у неё не было лица. Только гладкая серая кожа, туго натянутая на череп, словно пергамент на барабане, готовый лопнуть от первого удара.

— Мы были здесь раньше, — произнесла она, и слова её звучали так, будто приходили издалека, из времён, когда мир был другим, более тёмным и жестоким. — И будем здесь после. Дом помнит, мальчик. Дом всегда помнит. Помнит каждый шаг, каждый вздох, каждую слезу.

— Откуда вам знать? — пробормотал Серёжа, чувствуя, как по спине ползёт ледяной холод, проникая глубже, к самому сердцу, заставляя его биться неровно, в странном, пугающем ритме.

— Мы слышали, как ты дышал, — голос вдруг стал громче, резче, почти яростным, будто старуха наконец сбросила маску спокойствия и показала свою истинную сущность. — Слышали, как ты прятался в шкафу. Слышали, как ты плакал, когда понял, что ключ не поворачивается. Слышали, как ты шептал: «Пожалуйста, пусть это будет шутка». Но это не шутка, мальчик. Это реальность. Твоя реальность.

Кровь отлила от лица, оставляя его бледным, почти про-

зрачным, как тонкая бумага, через которую просвечивает тьма. Он действительно прятался в шкафу в тот вечер, когда нашёл в подвале первый скелет. Тот сидел в углу, сложив кости на коленях, будто ждал гостей. Тогда Серёжа думал, что это чья-то злая шутка. Но скелет не шевелился. Он просто смотрел — и в этом взгляде было столько понимания, столько знания, что Серёжа сразу понял: он не один. И никто не придёт ему на помощь. Никто не спасёт его, потому что этот дом не отпускает своих детей.

— Уходите, — прохрипел он, отступая ещё на шаг, чувствуя, как земля под ногами становится зыбкой, как будто он стоит на краю пропасти, и каждый шаг может стать последним. — Уходите отсюда. Оставьте меня в покое.

Старуха усмехнулась — или, возможно, это был просто звук, который издавала её пустая пасть, звук, похожий на скрежет сухих костей.

— Ты не можешь уйти, Серёжа. Ты уже часть этого. Ты часть них. Дом выбрал тебя, потому что ты умеешь видеть то, что скрыто. Ты умеешь делать невидимое реальным. И теперь ты не сможешь остановиться. Даже если захочешь.

И тут он увидел. В тёмном окне над кухней появилось лицо. Не скелет. Живое. Молодое. Знакомое.

Это было его собственное лицо.

Оно улыбалось — широко, до ушей, обнажая ряды острых, как иглы, зубов. Улыбка была неестественно широкой, будто лицо растягивали чьи-то невидимые руки, чтобы по-

казать всю глубину безумия. А потом это лицо подняло палец к губам.

Тише.

Серёжа закрыл глаза, надеясь, что когда он откроет их, всё исчезнет: старуха, дом, это жуткое отражение, этот холод, который пробирался под кожу, к самым костям. Но он чувствовал, как под ногами, сквозь асфальт, сквозь землю, сквозь бетон фундамента, что-то шевелится. Что-то огромное. Что-то голодное. Оно просыпалось, потягивалось, готовилось выйти на свет, и Серёжа понимал, что оно идёт за ним. Оно знало его запах, его страх, его имя. Оно ждало этого момента долгие годы.

Когда он снова открыл глаза, старухи не было. Только фонарь, мерцающий на ветру, и дом, застывший в тишине. Но тишина эта была лживой — она звенела, как натянутая струна, готовая лопнуть и выпустить наружу всё, что пряталось в темноте. В этой тишине слышался шёпот, который становился всё громче, превращаясь в хор голосов, шепчущих его имя, повторяющих его страхи, складывающих из них новую реальность, в которой нет места надежде.

Серёжа побежал. Он мчался так быстро, что лёгкие горели, а ноги гудели от напряжения, будто каждая мышца кричала: «Стой! Не беги! Ты не убежишь!» Но он не останавливался. Он бежал прочь от дома, от улицы, от всего, что было связано с этим местом, пока не вылетел на главную дорогу, где мимо проносились машины, оставляя за собой клубы

выхлопных газов и запах настоящей, живой жизни, которая казалась теперь чужой и далёкой, как воспоминание о чём-то, чего никогда не было.

Остановившись, тяжело дыша, он оглянулся.

Дома не было. На его месте раскинулся пустырь, заросший колючей травой и сухими стеблями, которые цеплялись за одежду, будто хотели удержать его, не дать уйти. А в центре, вмятый в землю, лежал старый ржавый ключ. Он выглядел так, будто пролежал здесь десятилетия, впитывая в себя холод и отчаяние этого места.

Дрожащими руками Серёжа подошёл ближе и наклонился. Ключ был холодным, словно только что вытащенным из ледяной воды, и этот холод проникал сквозь кожу, поднимаясь выше, к сердцу, заставляя его замирать на мгновение, а потом биться с удвоенной силой. Он поднял его, и в тот же миг услышал звук.

Скрип.

Очень тихий. Очень близкий.

Скрип двери.

Медленно, не желая верить, не желая признавать, что всё это правда, Серёжа повернул голову.

За его спиной, там, где не должно было быть ничего, кроме воздуха и ветра, стояла дверь. Старая, деревянная, потемневшая от времени, покрытая сетью трещин, будто прожитых лет, которые оставили на ней свои шрамы. Краска облупилась, обнажая тёмную, почти чёрную древесину, которая

выглядела так, будто впитала в себя всю тьму этого мира.

И она начала открываться.

Медленно. Тягуче. Неумолимо.

Скрип.

Скрип.

Скрип.

Каждый звук отдавался в груди, напоминая о том, что некоторые двери нельзя открывать, а некоторые — невозможно закрыть. И Серёжа понял: он больше не хозяин своей жизни. Он был лишь гостем в этом мире, и теперь его время истекло. Дверь открывалась не для того, чтобы выпустить его наружу, а чтобы впустить внутрь что-то древнее, голодное и бесконечно терпеливое. Что-то, что ждало его всю жизнь.

# Лесные предания: Хроника тишины

Дождь шёл уже третий день подряд, и лесная тропа давно перестала быть тропой — она превратилась в бурлящий поток грязи, который стекал по склонам старого бора, будто слёзы самой земли, уставшей от тяжести веков. Воздух был густым, плотным, пропитанным запахом прелой хвои и ещё чем-то едва уловимым — сладковатым, тревожным, от чего волосы на руках невольно вставали дыбом, а по коже пробежал холодок, не имевший ничего общего с обычной сыростью.

Старик Ефим прошептал, словно боялся, что слова, произнесённые громче, обретут плоть и станут реальностью:

— Никто не должен был выжить в этом лесу.

Он затаился потухшей папиросой — привычка, ставшая бессмысленным ритуалом, горьким и привычным до автоматизма. Пальцы его дрожали, а впалые, покрасневшие глаза метались по сумраку, будто искали в нём ответы, которых не существовало.

Участковый Алексей Петрович, чья промокшая до нитки форма липла к телу, нахмурился. Он не верил в монстров. Его вера была выстроена на протоколах, на экспертизах, на холодной, безупречной логике. Но здесь, в этой глухой, за-

бытой всеми стороне района, логика отступала перед чем-то более древним и безжалостным — перед ужасом, который не нуждался в доказательствах.

— Бобра убили, — продолжил Ефим, и голос его сорвался на фальцет, будто слова царапали горло изнутри. — Его нашли в норе. Не просто убитого. Его... разобрали. Как будто кто-то хотел понять, как он устроен внутри, как собрать из частей нечто новое.

Алексей Петрович молчал. Он помнил ту сцену: кровь, смешавшаяся с грязью, превратившаяся в бурую жижу, и глаза бобра, которые не закрылись даже после смерти — они смотрели в никуда, застывшие, полные немого ужаса.

— Белку... — голос Ефима стал тише, почти невнятным, будто каждое слово причиняло ему физическую боль. Он избегал смотреть участковому в глаза, будто стыдился того, что вынужден произносить эти слова. — Белку надругались. А потом сожгли. Я видел пепел. Он пах гарью и чем-то... чужим. Чем-то, что не принадлежит этому лесу.

— Это невозможно, — резко бросил Алексей Петрович, но в его резкости слышалась не уверенность, а попытка удержать рассыпающуюся реальность. — Звери не делают таких вещей. Это не в их природе.

— А зайца? — спросил Ефим, и в этом вопросе не было вопроса — только тяжёлое, неизбежное утверждение. — Зайца распяли на сосне. Лапы прибили к коре ржавыми гвоздями. Он висел там три дня. Дождь смывал кровь, но не смог

смыть ужас. Он остался — в изгибе веток, в тени ствола, в самом воздухе вокруг.

Участковый почувствовал, как по спине прокатилась дрожь, холодная и острая, словно лезвие. Он пытался сохранить хладнокровие, но образ распятого зайца, застывшего в утреннем тумане, намертво впечатался в сознание.

— Ёжика, — добавил Ефим, и теперь его голос был лишён эмоций, мёртвым, как у марионетки, чьи нити оборвали, но тело продолжало двигаться по инерции. — Ёжика заживо закопали. Мы нашли его на глубине двух метров. Он был ещё тёплым.

Тишина повисла в воздухе, тяжёлая, давящая, словно гиря, прижавшая их к земле. Алексей Петрович выдохнул, и влажный воздух обжёг лёгкие. Пахло дождём, страхом и чем-то древним — первобытным злом, которое дремало здесь задолго до появления людей и, возможно, переживёт их всех.

— Кто это сделал? — спросил участковый, хотя и знал, что ответа не будет. — Кто этот зверь?

Ефим посмотрел на него, и в его взгляде было что-то, от чего у Алексея Петровича внутри всё сжалось. Это не был страх. Не был гнев. Это было спокойствие — абсолютное, пугающее спокойствие человека, который знает правду, но не хочет произносить её вслух, потому что, однажды сказанная, она станет частью мира и уже не исчезнет.

— Ты правда думаешь, что это кто-то извне? — прошептал Ефим, словно боялся спугнуть тишину. — Думаешь, в

лес зашёл человек? Или волк какой?

— Тогда кто? — голос участкового прозвучал тише, чем он хотел, будто сам лес приглушал его слова.

Ефим медленно повернул голову. Его взгляд упал на кустарник у обочины. Там, среди мокрой зелени, сидел маленький пушистый комочек — бурундук. Его полосатый хвост медленно подрагивал, а маленькие чёрные глазки блестели в тусклом свете фонаря, отражая свет так, словно в них пряталось что-то большее, чем просто животный инстинкт.

Бурундук моргнул. Медленно. Сознательно.

— А это был бурундук, — сказал Ефим, и слова прозвучали не как предположение, а как приговор.

Алексей Петрович моргнул, будто пытаясь сбросить навязание, и посмотрел на кустарник. Бурундук смотрел на него. В его маленьких глазах не было страха. Не было безумия. Там было что-то другое — что-то старое, тупое и абсолютное, словно он знал всё, что происходило в этом лесу, и наблюдал за этим веками.

— Он просто... смотрит, — прошептал участковый, и в этих словах прозвучала не констатация, а мольба — мольба о том, чтобы это было всё, что есть: просто взгляд маленького зверька.

— Он всегда смотрел, — ответил Ефим, гася окурок о грязную землю. Движение вышло резким, почти злым, будто он пытался стереть сам факт существования этого разговора. — Мы просто наконец-то начали замечать.

Дождь усилился, барабания по листьям, по веткам, по старой кепке Алексея Петровича. Бурундук не шелохнулся. Он сидел там, маленький и безобидный, и в этой неподвижности было больше ужаса, чем во всех мёртвых телах, разброшенных по лесу. Участковый почувствовал, как холод проникает сквозь мокрую одежду, добираясь до самой кости, до чего-то глубинного, что отзывалось на этот холод древним, животным страхом.

Он понял, что они не одни. И самое страшное заключалось не в том, что кто-то наблюдал за ними. Самое страшное было в том, что они никогда не были одни. Лес всегда был населён, просто люди не хотели этого видеть.

И в тот момент, когда Алексей Петрович почти убедил себя, что это просто зверёк, бурундук улыбнулся.

# Копытный рёв

Воздух в салоне автобуса «ГАЗель» номер 46, штурмовавшего Невский проспект, в считанные мгновения сгустился в плотный, сладковатый туман — такой густой, что его, казалось, можно было зачерпнуть ладонью, как вязкий сироп. Это не был привычный запах перегретого металла или выхлопных газов, который въедается в одежду и преследует тебя ещё долго после поездки. Нет, это был иной запах — прогорклого сала, старой бумаги, гниющих страниц, будто кто-то поджёг забытую в углу библиотеку, а потом оставил её тлеть в темноте, чтобы дым пропитал каждый уголок. В нём чувствовалось что-то глубоко неправильное, противоестественное, словно сама материя воздуха изменилась, подчиняясь чужой, зловещей воле.

Пассажиры замерли. Не от страха — настоящий страх приходит позже, когда разум наконец осознаёт, что реальность дала трещину и сквозь неё в мир просочилось нечто чуждое. Сейчас их сковало странное, почти гипнотическое оцепенение, будто время в этой металлической коробке остановилось, а багровые брызги на лобовом стекле застыли в воздухе, словно небрежные мазки на холсте, которые художник не успел растушевать. В этой неподвижности было что-то невыносимо жуткое: люди сидели, не шевелясь, не дыша, будто боялись, что любое движение привлечёт к ним

внимание того, что находилось впереди.

За рулём сидел водитель. Или то, что прежде им было. Его фигура будто плавилась на глазах: черты лица расплывались, как рисунок, нанесённый на мокрую бумагу, теряли чёткость, сливались друг с другом, превращаясь в бесформенную, текучую массу. Но улыбка оставалась пугающе чёткой — широкой, неестественно растянутой, обнажавшей неровные, острые клыки, которые выглядели так, будто они не принадлежали ни одному известному живому существу. Эта улыбка была единственным стабильным элементом в мире, который стремительно терял свои очертания.

Существо почесало затылок, и этот жест, такой по-человечески обыденный, стал особенно жутким из-за того, чем он был совершён: не рукой, а копытом. Тёмным, роговым, с шершавой текстурой, покрытым мелкими трещинами, будто оно было выточено из старого, потемневшего дерева. Копыто глухо щёлкнуло, ударившись о пластиковую панель приборной доски, и звук этот прозвучал неестественно громко, как удар молотка по кости.

— А-а-а-а, — протянуло существо, и звук этот не имел ничего общего с человеческой речью. Он напоминал скрип ржавых петель, которые тянут в разные стороны, пытаясь разорвать тишину, но не могут справиться с собственной тяжестью. В этом звуке слышалось что-то древнее, звериное, полное первобытной ярости и одновременно — холодного, расчётливого спокойствия, от которого по спине пробегал

ледяной холод.

Дверь кабины распахнулась, но автобус не сбавил хода. Он нёсся по Невскому со скоростью девяносто километров в час, врезаясь в косой дождь, в сырой ветер, в свинцовую пелену петербургского неба, будто сам город пытался оттолкнуть его, но не мог справиться с этой странной, искажённой силой. Фигура в проёме не удержалась — но и не упала. Она вышла. Длинные, неестественно изогнутые ноги с копытами коснулись асфальта, и тело распрямилось, словно туго сжатая пружина, наконец получившая свободу. Движение было слишком плавным, слишком выверенным, будто существо знало каждый миллиметр пространства вокруг себя и владело им безраздельно.

Пассажиры видели, как оно оттолкнулось от борта. Автобус умчался вперёд, оставляя за собой шлейф пара и резкий запах меди, смешанный с чем-то ещё — с запахом сырого мяса, только что вынутого из морозильника, с запахом чего-то живого, что внезапно перестало быть живым. Существо осталось стоять посреди проспекта под хлещущим дождём, и вода, стекавшая по его телу, казалась чёрной, будто она впитывала в себя тьму. Кровь стекала с его копыт, падая на серый камень и оставляя на нём тёмные, почти чёрные пятна, будто сама мостовая впитывала эту чуждую жизнь, принимая её как часть себя.

Существо повернуло голову. Не в сторону удаляющегося автобуса, не к толпе, которая уже начала пятиться назад, бор-

моча слова молитв, давно забытых и почти стёртых из памяти, словно язык, на котором они были написаны, перестал существовать. Оно уставилось прямо в глаза пассажиру, сидевшему в первом ряду, — словно выбрало его, выделило из всех, как будто именно он был нужен для чего-то большего, для какого-то зловещего ритуала, смысл которого никто не мог постичь. Взгляд был не просто пристальным — он проникал внутрь, пробирался под кожу, касался самых потаённых страхов, вытаскивал их наружу и заставлял смотреть на них в упор.

— Ты видел, — произнесло существо тихо, но этот голос отозвался в ушах каждого, как пронзительный звон маленького колокольчика, от которого невозможно спрятаться, который проникает сквозь барабанные перепонки прямо в мозг и остаётся там, пульсируя в такт ударам сердца. — Ты видел, как я вышел.

Автобус скрылся за поворотом, растворился в сером маре, будто его и не было, будто он был лишь частью чьего-то кошмара, который вдруг прорвался в реальность. На проспекте остались лишь дождь, тяжёлый запах крови и тишина — густая, давящая, словно толща воды, накрывшая город. Эта тишина была не просто отсутствием звуков — она была живой, она дышала, она наблюдала, она ждала.

Пассажир, на которого смотрело существо, медленно моргнул, будто пробуждаясь от долгого сна, в котором он видел вещи, которые не должен был видеть. Он опустил взгляд

на свои руки, и в этот момент мир вокруг него словно замер, боясь нарушить хрупкое равновесие между реальностью и безумием. И там, где ещё недавно были пальцы, теперь темнели копыта — тёмные, роговые, с грубой, шершавой поверхностью, покрытые мелкими трещинами и тёмными прожилками, будто они были частью чего-то гораздо более древнего, чем сам человек. Кожа вокруг копыт натянулась, стала сухой и серой, как старая пергаментная бумага, которую слишком долго держали на солнце.

Он почувствовал, как по венам вместо крови течёт что-то иное — тяжёлое, густое, обжигающе холодное. Пульс отдавался не в запястьях, а в самих копытах, будто они стали новым центром его тела, новым источником жизни, который тянул из него остатки человечности. Он поднял взгляд, и в его глазах отражался не ужас, а что-то другое — странное, пугающее спокойствие, словно он наконец понял своё предназначение, каким бы чудовищным оно ни было.

И тогда он улыбнулся.

Улыбка была широкой, неестественно широкой, будто мышцы лица не принадлежали ему, будто их растянули чьи-то невидимые руки, чтобы показать всю глубину безумия. В ней не было радости, не было облегчения — только признание того, что пути назад больше нет, что граница между человеком и чем-то иным стёрта, и теперь он — часть этого нового, искажённого мира.

Дождь продолжал хлестать по асфальту, по витринам ма-

газинов, по крышам домов, смывая следы, но не в силах смыть то, что уже проникло в самую ткань города. Невский проспект, обычно шумный и суетливый, казался теперь чужим, словно он принадлежал другому измерению, где законы физики и логики не имели значения. Прохожие, которые ещё недавно спешили по своим делам, теперь жались к стенам, прятались в подъездах, закрывали лица руками, будто это могло защитить их от того, что они видели. Но они уже видели. И теперь это знание жило внутри них, разъедая сознание, как кислота.

Город замер в ожидании. Что-то изменилось. Что-то необратимое произошло на этом участке проспекта, и теперь эта точка на карте стала разломом, через который в привычный мир просачивалось нечто древнее, голодное и бесконечно терпеливое. И самое страшное заключалось не в том, что это существо появилось. Самое страшное было в том, что оно не было единственным. Где-то в тенях, за углами домов, в тёмных подворотнях, в пустых подъездах ждали другие. Они наблюдали. Они ждали своего часа. И рано или поздно они выйдут на свет.

# Хруст берёзового сока

Ветер в кроне старой берёзы шелестел, словно шёпот тысячи умирающих голосов — тихий, прерывистый, будто каждый лист произносил своё последнее слово, выталкивая из себя остатки жизни. Это был не обычный ветер, что гонит по земле сухие листья и качает верхушки деревьев, как ленивый пастух погоняет стадо. Он нёс с собой запахи, от которых стыла кровь, а внутренности сжимались в тугой, болезненный узел: мокрой земли, старой крови и сладковатой, гнилостной ноты — будто где-то в глубине леса дотлевали гнилые яблоки, забытые в тёмном, сыром подвале на долгие месяцы, и теперь их тление пропитало собой каждый миллиметр воздуха. Этот запах въедался в кожу, оседал в лёгких, становился частью тебя, и ты уже не мог сказать, где заканчиваешься ты и начинается этот проклятый лес.

Гора, о которой шептались местные жители — те немногие, кто ещё осмеливался жить в радиусе десяти миль от проклятого леса, хотя с каждым годом их становилось всё меньше, а дома пустели один за другим, будто люди исчезали, растворяясь в самой тишине этих мест, — не была просто нагромождением камней и валунов, слеженных временем и дождями. Она казалась живым существом, дремлющим под толщей мха, переплетением корней и слоем вековой тишины, которая давила на плечи, заставляя сгибаться под её тя-

жестью. А тело у её подножия выглядело жалким мусором, который ветер выплюнул из своей пасти, не найдя ему иного применения, словно оно было не человеком, а сломанной игрушкой, которую выбросили за ненадобностью.

Смерть не была быстрой. В этом и заключался самый пронзительный, самый невыносимый ужас: она тянулась, растягивалась, впивалась в жертву, не отпуская до последнего мгновения, выжимая из него каждую каплю страха, каждую искру надежды, чтобы погасить их одну за другой. Одна рука мертвеца, пальцы которой покрывала корка красной пены, всё ещё судорожно сжимала воздух, будто пыталась удержать ускользающую жизнь, схватить её, как тонкую нить, готовую вот-вот оборваться. В этом жесте было столько отчаяния, что он казался криком, застывшим в неподвижности. Другая рука, перепачканная грязью и спутанными чужими волосами, мелко дрожала в такт последним, едва уловимым вздохам, словно тело отказывалось верить, что конец уже здесь, и продолжало бороться даже тогда, когда разум уже сдался. Кровь на лице запеклась, превратившись в чёрную, плотную маску, придававшую лицу сходство с древней ритуальной статуэткой, извлечённой из забытого раскопа, но в этой маске застыло не спокойствие, а бесконечный, безмолвный крик, который никто не услышал. Но глаза... Они оставались открытыми и смотрели не в небо, не на кроны деревьев, а куда-то внутрь себя — в ту бездну, где человеческие понятия теряют смысл, уступая место правилам леса,

жестоким и непостижимым, где боль становится языком, а страх — единственной валютой.

Леший не был монстром в том виде, в каком его рисуют на иллюстрациях в дешёвых детских книжках: без копыт, без нелепых рогов, без гротескной карикатурности, которая делает чудовище смешным. Леший был не фигурой, а ощущением — тем самым леденящим холодком, что пробегает по спине, когда идёшь по лесной тропе в полном одиночестве и вдруг понимаешь: за тобой кто-то идёт. Хотя позади — только деревья, неподвижные и молчаливые, будто сговорившиеся хранить чужую тайну, и тишина, которая становится слишком густой, слишком тяжёлой, словно она наваливается на тебя, прижимая к земле. Леший был этим взглядом, который ты чувствуешь кожей, этим дыханием, которое ты слышишь даже в безветренную погоду, этим шорохом, который не принадлежит ни одному живому существу.

Сегодня Леший не просто убил. Он напомнил. Напомнил лесу и самому человеку, кто здесь хозяин, и сделал это так, чтобы ни у кого не осталось сомнений.

Когда-то этот человек был охотником — ловким, уверенным, привыкшим диктовать свои правила, считавшим лес не более чем ареной для своей силы и мастерства. Потом он стал коллекционером трофеев, собирая не вещи, а свидетельства своей власти над дикой природой, словно каждый убитый зверь был буквой в его личной истории, которую он писал кровью. А позже превратился в того, кого начал боять-

ся сам лес. Лес, веками остававшийся безраздельным владыкой этих мест, вдруг ощутил, что теряет контроль, что чужая воля вгрызается в его плоть, оставляя глубокие, кровоточащие раны. Каждая капля пролитой на его землю крови становилась ядом, разъедающим привычную ткань бытия, нарушая древний баланс, который держался на страхе и уважении. И тогда гора пошевелилась во сне, вздрогнула всем своим каменным телом, пробуждаясь от долгого забытья.

Проснулась не вся сущность Лешего — лишь его тень, лишь сгусток древней злости, достаточно сильный, чтобы нанести удар, но слишком тонкий, чтобы принять форму. Эта тень скользила между деревьями, касалась коры, проникала под кожу, заставляя корни шевелиться, как живые нервы. Она была не столько существом, сколько намерением — намерением наказать, напомнить, восстановить порядок любой ценой.

Тело лежало неподвижно, словно уже стало частью земли, будто само пространство решило поглотить его, стереть из памяти мира. Берёза над ним качнулась, будто вздохнула, и с её ветвей упала ветка. Она скользнула по воздуху и, шурша, прокатилась по груди мертвеца, словно проверяя, действительно ли жизнь покинула это тело, или же под коркой запекшейся крови ещё теплится слабое, отчаянное биение. Тишина в лесу сделалась такой густой, что её, казалось, можно было разрезать ножом — и она бы поддалась, обнажив скрытую под ней вибрацию, едва слышный гул, который шёл

из самой глубины земли, из тех слоёв, куда не проникал солнечный свет и где время текло иначе, медленнее, тяжелее.

На краю поляны, в полумраке, где свет едва пробивался сквозь листву, стояла другая фигура. Она не двигалась, не подавала признаков жизни — просто смотрела. Это не был человек, но и не был Леший в привычном понимании. Существо казалось порождением границы между мирами — тем, что возникает там, где нарушается равновесие, где тонкая грань между «здесь» и «там» истончается до прозрачности, становясь похожей на треснувшее стекло, готовое рассыпаться от одного прикосновения. Оно медленно повернуло голову, и его глаза — если эти светящиеся точки вообще можно было назвать глазами — вспыхнули тусклым, пепельно-серым светом, лишённым тепла, но полным древней, равнодушной мудрости, которая видела бесчисленные циклы жизни и смерти и осталась равнодушной к каждому из них. В этом взгляде не было ни злобы, ни сострадания — только холодное знание того, что всё идёт так, как должно идти, и ничто не может изменить предначертанный порядок.

Оно не издавало звуков, не дышало, не шевелилось. Оно просто было — и этого было достаточно. И в его неподвижности читалось знание: то, что произошло здесь, лишь начало, первая капля в потоке, который скоро станет рекой, сметающей всё на своём пути.

Кровь из носа мертвеца начала сочиться снова — медленно, капля за каплей, падая на землю с монотонной неиз-

бежностью, словно отсчитывая последние мгновения прежнего мира. С каждой каплей почва вокруг тела темнела, будто впитывала не только кровь, но и саму суть ушедшей жизни, её воспоминания, её страхи, её последние мысли, которые растворялись в сырой земле, становясь её частью. Корни берёзы, прежде белые и хрупкие, словно тонкие жилы, начали чернеть, покрываясь угольно-чёрными прожилками, будто их опалило невидимым пламенем, которое горело не снаружи, а изнутри. Они сжимались, скручивались, умирали на глазах, превращаясь в обугленные нити, которые тянулись к телу, словно хотели забрать его целиком, поглотить без остатка.

Лес не прощал. Он не знал милосердия — только древний, неумолимый закон равновесия, который требовал, чтобы за каждое нарушение следовала расплата, и эта расплата всегда была больше, чем преступление. И когда баланс нарушался, лес забирал своё, не спрашивая разрешения, не оставляя следов, кроме тех, что отпечатывались в памяти выживших, превращая их сны в кошмары, а дни — в ожидание неизбежного.

А где-то далеко, в маленьком домике с покосившейся крышей, щёлкнуло радио. Сначала это был лишь статический шум — бессмысленный треск, похожий на дыхание пустого пространства, на скрежет костей, трущихся друг о друга в темноте. Затем шум сложился в шёпот. Голос был женским, но в нём не осталось ничего человеческого: он звучал

так, будто говорил не человек, а сама пустота, научившаяся произносить слова, чтобы проникнуть в сознание и поселиться там, как паразит.

— Он ушёл, — прошептало радио, и звук этот скользнул по комнате, как холодный сквозняк, пробираясь под одежду, касаясь кожи, заставляя волоски вставать дыбом. — Но другие уже идут. Ты слышишь их шаги? Они уже в твоём дворе. Они стоят у твоей двери. Они знают, что ты не спишь.

Женщина, сидевшая у стола, отодвинула стул. Скрип ножек по полу прозвучал неестественно громко, будто сам дом подталкивал её к этому движению, хотел, чтобы она встала, чтобы почувствовала всю тяжесть момента. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы знать: дверь за её спиной медленно, с тихим, скрипучим протестом, начала открываться. Петли, давно не смазанные, издавали звук, похожий на сдержанный стон, на плач старого дерева, которое помнит все секреты этого дома и теперь готово их выдать. Холодный воздух потянулся внутрь, неся с собой запах сырости, прелой листвы и чего-то ещё, чего она не могла назвать, но что заставляло её сердце биться так сильно, что казалось, будто оно хочет вырваться из груди, убежать от того, что стояло за дверью.

Ветер усилился, взметнув сухие листья и швырнув их в окна, будто пытаясь проникнуть внутрь, разорвать хрупкую границу между безопасным пространством и тем, что ждало снаружи. Берёза закрипела, её ствол прогнулся, издавая звук, напоминавший тяжёлый, сдавленный вздох, пол-

ный боли и усталости. Ветви задрожали, словно от сдерживаемого крика, который так и не смог вырваться наружу.

И тогда лес засмеялся. Это не был человеческий смех — скорее, скрежет ветвей, шорох корней, движение земли под ногами, хруст берёзового сока, который звучал как ломающиеся кости. Но в этом звуке слышалось торжество: лес праздновал свою победу, свою древнюю, безжалостную правоту, и в этом торжестве не было радости — только холодное удовлетворение хищника, который наконец загнал добычу в угол и теперь может позволить себе не торопиться.

# Зубы на чердаке

Ветер на Васильевском острове, в том самом Ленинграде, что хранил в себе отголоски былой славы и тяжесть бесчисленных историй, пах ржавчиной, мазутом и ещё чем-то сладковатым — чем-то, что невольно вызывало в памяти образ гниющих яблок в сентябрьском саду. Но сейчас была зима — мёртвая, серая, безжалостная зима, которая выжимала жизнь из людей, как воду из мокрого полотенца, оставляя после себя лишь хрупкую оболочку, едва удерживающую тепло.

Человек в телогрейке остановился у парадной. Старая деревянная дверь, покрытая облупившейся краской цвета выцветшей крови, казалась не входом в дом, а порталом в иное пространство, где привычные законы теряли силу. Он поправил шапку. Кожа на ней была натянутой, тугой, словно под ней билось не сердце, а что-то чужое, настойчивое, не принадлежащее ему.

— Никто не узнает, — прошептал он, и голос прозвучал хрипло, будто слова царапали горло, как трение песка по стеклу. — Никто уже не знает, как я выгляжу.

Он оглянулся. Улица была пуста, если не считать одинокой лужицы, отражавшей тусклый свет фонаря. Но «тусклый» было неверным словом: свет жил, пульсировал, словно артерия, готовая разорваться от напряжения. В отражении

лужицы он увидел не своё лицо. Оно было гладким, безликим, похожим на пластилиновую маску, которую кто-то слепил в спешке, забыв добавить черты, делающие человека человеком.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.